

левского термина *moral sciences*, а будучи переведенным, приобрело (особенно у В. Дильтея и потом в XX веке) такой смысл, что немецкий термин оказался, строго говоря, непереводимым ни на какой другой язык, менее всего — на английский!

Наш переводческий семинар возник случайно и не от хорошей жизни; но дело не в этом. Мы переводим и говорим обо всем; у себя и у других я замечаю потребность в *разговоре* — потребность, которую «институты» сегодня могут удовлетворить еще меньше, чем в прежние времена. Э. Ауэрбах стал для нас неожиданно современным собеседником — таким собеседником, которого еще надо было заслужить и которого мы постарались заслужить, работая над переводом одной из самых животрепещущих и концентрированных его статей.

Эрих АУЭРБАХ

ФИЛОЛОГИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ*

Пришло время задаться вопросом о том, какой смысл еще может иметь выражение «мировая литература» (*Weltliteratur*) в гетевской трактовке его — в ситуации современности и ближайшего будущего. Наша Земля, то есть, собственно, «мир» мировой литературы, становится все меньше и утрачивает присущее ей разнообразие. А ведь понятие мировой литературы отсылает не просто к общечеловеческому, но к такому общечеловеческому, которое осуществляется во взаимном обогащении за счет разнообразия. Больше того: самую предпосылку мировой литературы является *felix culpa*¹ распада человечества на множество различных культур. Но что же происходит, что назревает сегодня? В силу тысячи и тысячи причин, известных каждому, жизнь людей на всей планете приобретает черты единообразия. Процесс интеграции, изначально имевший европейские истоки, увеличивает свой размах и подрывает все самобытные традиции. Правда, голоса отдельных наций звучат теперь сильнее и громче, чем когда-либо прежде; однако все нации устремлены к одной и той же — современной — форме жизни; для беспристрастного наблюдателя очевидно, что внутренние основания националь-

* Перевод сделан по изданию: *Auerbach Erich. Philologie der Weltliteratur // Auerbach Erich. Gesammelte Aufsätze zur Romanischen Literatur. Bern / München, 1967. S. 301–310.*

¹ Счастливая вина (*лат.*).

ного бытия повсеместно распадаются. Европейские или возникшие на европейской почве культуры, которые долгое время пребывали в плодотворном общении друг с другом и опирались в этом общении на сознание собственной значимости и прогрессивности, в лучшем случае еще сохраняют независимость друг от друга, хотя и здесь процесс унификации протекает куда стремительней, чем раньше. А главное, обороты набирает стандартизация европейско-американского или русско-большевистского образца; и как бы ни были различны оба этих типа стандартизации, отличие не так уж велико, если сопоставить их, в их современном виде, с каким-либо другим культурным субстратом — скажем, с исламской, индийской или китайской традицией. Если человечеству суждено спастись в водовороте потрясений, которые несет с собой процесс все более концентрированного единообразия — процесс настолько же мощный и стремительный, насколько к нему внутренне оказались плохо подготовлены, — то надо будет примириться с мыслью, что на организованной в одно единство Земле останется только одна-единственная живая литературная культура, потом — через относительно короткий период времени — останется всего несколько литературных языков, а еще очень скоро, возможно, и вовсе только один язык. И тем самым идея «мировой литературы» достигла бы одновременно и своего осуществления, и своего разрушения.

Такое положение вещей — если я правильно вижу — в своей неотвратимости и обусловленности массовыми движениями выглядит очень не по-гетевски. Сам Гете предпочитал не задаваться вопросами на сей счет; время от времени его посещали мысли, принимавшие отчасти сходное направление, но только отчасти; он ведь не мог себе даже представить, насколько быстро и сверх всякого ожидания радикальным образом станет реальной угрозой все то, чего он опасался. Какой недолгой была эпоха, которой принадлежал Гете и закат которой еще застали старшие из нас! Не более пяти столетий прошло с тех пор, как европейские национальные литературы эмансипировались от литературы латинской и обрели самосознание; и менее двух столетий минуло с той поры, как пробудилось чувство исторической перспективы (*der geschichtlich-perspektivische Sinn*), которое и сделало возможным формирование такого понятия, как «мировая литература». Сам Гете, умерший 120 лет назад, своей деятельностью и живым примером оказал решающее влияние на становление этого чувства исторической перспективы и на возникшую на его основе новую практику филологического исследования. Но вот уже мы видим, как возникает такой мир, в котором

это самое чувство, скорее всего, больше не будет иметь сколько-нибудь серьезного практического значения.

Эпоха гетевского гуманизма была короткой, но она оказала сильнейшее воздействие и послужила источником многих начинаний, а ее влияние продолжало все время расширяться и разветвляться. К концу своей жизни Гете располагал несравненно большими знаниями о древней и новой литературе различных народов мира, чем об этом было известно ко времени его рождения; но эти его знания были очень невелики по сравнению с тем, что мы знаем теперь. Сегодняшним своим достоянием мы обязаны импульсу, который был дан историческим гуманизмом эпохи Гете; причем дело здесь не только в том, что были обнаружены новые литературные материалы и разработаны методы для их исследования; решающим обстоятельством было то, что освоение всех этих материалов стало фактом внутренней истории человечества и позволило обрести единое в своем многообразии представление о человеке. Именно к такому представлению стремилась филология со времен Вико и Гердера, и благодаря ему эта наука стала направляющей. Под ее влиянием возникли дисциплины (Künste), исследующие историю религии, права и политическую историю, — дисциплины, с которыми сама филология многообразно переплелась в процессе совместной разработки определяющих понятий и в деле постановки исследовательских задач. Нет необходимости напоминать о том, какие прорывы и открытия были осуществлены при этом на путях научного исследования, как и на уровне духовно-исторических синтезов.

Так вот: имеет ли смысл продолжать все эти занятия, если обстоятельства и виды на будущее полностью изменились? Сам по себе факт, что филологическая деятельность продолжается и даже распространяется вширь, мало что доказывает. Все, что однажды стало привычкой и заведенным порядком, может продлиться еще очень долго; и даже те, кто замечает радикальные изменения общих условий жизни во всем мире и понимает значение этих изменений, далеко еще не готовы, а зачастую вообще не в состоянии извлечь практические выводы из того, что они поняли. С другой стороны, однако, и сегодня, как это было всегда, имеется небольшое, но значительное по своим задаткам и оригинальности число молодых людей, которые по-настоящему тянутся к гуманитарно-филологической (philologisch-geistesgeschichtlichen) деятельности; и можно питать надежду, что инстинктивная склонность к филологии их не обманывает и эта деятельность даже в наши дни еще имеет какой-то смысл и будущее.

Исследование мира действительности (Weltwirklichkeit) посредством научных методов наполняет и подчиняет себе нашу жизнь; такое исследование, если угодно, наш миф; ибо у нас нет никакого другого мифа, который в такой же мере, как гуманитарно-филологическая деятельность, обладал бы общезначимой достоверностью. Но мир действительности в своем внутреннем основании и движении суть история — то, что нас затрагивает и определяет совершенно непосредственно, то, чем мы захвачены в глубинах нашего существа и что образует наиболее проникновенные импульсы сознания в нашем я (unserer selbst). Ибо только в истории нам предстоят люди в своем целом, и в этом смысле история — единственный в своем роде предмет. Под предметом истории мы понимаем здесь не только прошлое, но также и поступательное движение событий вообще, включая и то, что происходит в чьей бы то ни было современности. Внутренняя история последних тысячелетий, с которой филология как историческая дисциплина имеет дело, — это история человечества, достигшего способности самовыражения. История эта — документально засвидетельствованный, наполненный произвольными действиями и неожиданными приключениями порыв людей к осознанию своего положения и реализации имеющихся у них возможностей. Порыв или прорыв, о цели которого долгое время едва ли можно было догадываться (да и сейчас, конечно, наши представления о такой цели вполне фрагментарны), но который тем не менее, при всей запутанности его путей и перепутий, происходил и происходит, похоже, как бы по одному плану. В нем, этом плане, заключено все богатство напряжений, на которое только способно наше существо; в нем развертывается подлинное, внутреннее зрелище истории, полнота и глубина которого приводит в движение весь потенциал созерцателя и одновременно делает его способным, посредством достигнутого таким образом обогащения видения и понимания, обрести умиротворение в том, что дает ему история. Утрата способности видеть зрелище истории, — зрелище, которое, для того чтобы стать видимым, должно быть воссоздано и истолковано исследователем, — может обернуться ничем не восполнимым оскудением. Разумеется, эту утрату почувствовали бы только те, кто еще не в полной мере испытал на себе ее воздействие; наша задача — сделать все возможное для того, чтобы такая утрата не произошла.

Если мысли о будущем, с которых я начал, имеют некоторые основания, тогда крайне насущной становится задача собирания материала и придания ему актуального единства. Ведь мы, именно мы сейчас оказались, что ни говори, в такой

исторической ситуации, в которой эта задача может быть выполнена; не просто потому, что мы располагаем поистине огромным материалом, но прежде всего потому, что мы унаследовали вот это самое чувство исторической перспективы, необходимое для ее выполнения. Мы все еще обладаем этим чувством, поскольку все еще питаемся и живем опытом исторического многообразия; вне такого опыта, боюсь, чувство исторической перспективы может очень скоро потерять всякую жизненную конкретность. Таким образом, мы переживаем сейчас, как мне кажется, настоящий *кайрос* понимающей историографии; сумеют ли последующие поколения, и надолго ли, удержать такой уровень исторического понимания — это большой вопрос. Уже сейчас нам грозит оскудение, связанное с культурой, которая лишена историчности: такая культура не только существует, но уже претендует на господство.

Такими, какие мы есть, мы стали в ходе истории; в наших силах лишь сохранять и культивировать доступное нам чувство исторической действительности; показать все это так, чтобы прошлое стало для всех понятным и не подлежащим забвению, — вот задача филологов, изучающих мировую литературу в наше время. Один из персонажей романа Адальберта Штифтера «Бабье лето» в конце главы «Сближение» говорит такие слова: «Достойно было бы высочайшего желания, чтобы после завершения человеческого бытия некий дух собрал и обозрел все, от его возникновения до его гибели, искусство рода человеческого»². Штифтер имеет здесь в виду только изобразительное искусство; да и о конце человека, я думаю, покамест говорить рано; и все же, как представляется, нами достигнут сейчас некий момент завершения и поворота, когда открывается такая возможность обозрения прошлого, какой не было никогда раньше.

Такое вот представление о мировой литературе и ее филологии оказывается менее активным, менее практическим и менее политическим, чем прежнее представление. Духовный обмен, облагораживание нравов и примирение народов — об этом больше не может быть и речи. Этих целей частью так и не удалось достичь, а частью они и сами уже устарели вследствие общего хода вещей. В прошлом обмен культурными благами инициировался и осуществлялся под знаком только что упомянутых общих целей, а инициаторами и организаторами такого обмена были отдельные выдающиеся личности, а также маленькие группы людей, принадлежавших к культур-

² Штифтер А. Бабье лето. Пер. С. Апта. М.: Прогресс-традиция, 1999. С. 331. (Прим. переводчиков.)

ной элите; культурный обмен практиковался и позднее, в небольших масштабах он существует и в наше время. Однако такое сближение в целом мало способствует улучшению нравов и примирению; позитивные результаты и успехи в этом направлении явным образом сходят на нет перед лицом шквала непримиримо противостоящих и противодействующих друг другу интересов. Культурный обмен может быть по-настоящему действенным лишь там, где взаимное сближение и формирование отдельных инициативных групп осуществляются под непосредственным воздействием общественно-политического развития; обмен тогда действует внутри группы, ускоряет процессы взаимодействия и взаимопонимания, а тем самым служит общим намерениям и целям. Однако сближение между культурами в сторону единообразия или однообразия, — о чем говорилось в самом начале, — зашло так далеко, что это едва ли бы пришлось по душе гуманисту гетевского склада; и, более того, не обнаруживается разумной перспективы, которая давала бы возможность решать возникающие противоречия иначе, нежели путем применения силы.

Выдвигаемое нами представление о мировой литературе как о разнородном фоне свершающейся над всеми общей судьбы (*Geschicks*) уже не включает в себе надежды как-то повлиять на происходящее; ведь происходит совсем не то, на что надеялись раньше; самодовлеющий процесс стандартизации земной культуры нужно принять как неизбежное. Историческая возможность филологии мировой литературы сегодня, на наш взгляд, заключается в том, чтобы на конечной стадии продуктивного многообразия наций и национальных литератур удержать и укрепить сознание судьбоносной взаимосвязи между отдельными народами — сознание, которое стало бы для всех народов достоянием их мифа и не допустило бы разрушения и утраты всех тех богатств и глубин, которые были обретены в духовных движениях истории на протяжении последних тысячелетий.

Можно, разумеется, столь же долго, сколь и бесплодно гадать о том, насколько эффективной — в смысле своего объективного воздействия в будущем — окажется так понятая задача филологии; делом филолога являются не эти спекуляции, но практическое созидание самой возможности такого воздействия. И все же позволительно сказать, что в переходную эпоху, в которой мы теперь находимся, воздействие филологии может быть очень значительным; не исключено даже, что она способна помочь лучше осмыслить все то, что с нами происходит, и сделать менее слепой ненависть к нашим врагам, даже если нам и суждено с ними воевать. Та-

ким образом, наше представление о мировой литературе не менее человечно и не менее гуманистично, чем то, которое существовало в прежние времена; более того, понимание истории, лежащее в основе этого нашего представления, хотя и не совпадает с прежним, однако выросло из него и без него совершенно немислимо.

Выше уже говорилось о том, что мы в принципе способны выполнить задачу филологии мировой литературы, поскольку мы располагаем неисчерпаемым и постоянно возрастающим материалом, а также еще и потому, что у нас есть историческая перспектива, которую мы унаследовали от историзма эпохи Гете. Однако, хотя перспектива эта и выглядит обнадеживающей в целом, она тем более оказывается труднодоступной в частностях и на практике. Для того чтобы задача постижения мировой литературы как сущностного единства могла быть по-настоящему решена, нужны как минимум такие исследователи, в личном опыте и деятельности которых мировая литература была бы представлена в своем целом или хотя бы в значительной своей части. Однако в силу избытка и материала, и методов, и способов видения предмета исследователи такого уровня почти уже невозможны. В нашем распоряжении сегодня материал шести тысячелетий со всех концов Земли примерно на пятидесяти литературных языках. Многие из культур, о которых мы имеем теперь достоверные знания, сто лет назад еще не были даже и открыты, а другие культуры, хотя и были известны по отдельным фрагментам, практически оставались неизвестными, если сравнить эти фрагменты с необозримою массой новых источников, которые доступны нам сегодня. Даже эпохи, изучавшиеся на протяжении столетий, предстали теперь, благодаря новым находкам, настолько в новом свете, что понимание этих эпох стало совсем иным и возникли совершенно новые проблемы.

С этим связано еще и другое: в наше время невозможно больше заниматься только самой по себе литературой в пределах той или иной культурной эпохи, а необходимо изучать также и те внелитературные условия, под воздействием которых литература развивалась; сюда относятся предпосылки и обстоятельства религиозного, философского, политического и экономического характера, изобразительное искусство или, скажем, музыка; современный литературовед должен учитывать результаты постоянно развивающегося научного исследования во всех этих специальных областях.

Трудности возрастают еще и оттого, что изобилие материала ведет ко все большей дифференциации предмета исследований; появляются все более специализированные методы, так

что в каждой отдельной научной области и даже для каждого способа понимания среди множества других способов возникает своего рода тайный язык. Но и это еще не все. Извне — из социологии, психологии, из некоторых течений философии, из современной литературной критики — в филологию проникают нефилологические понятия и методы; каждое такое понятие или метод нуждается — в тех случаях, когда нет возможности с полным правом утверждать их бесполезность для филологических целей, — в существенной переработке для того, чтобы соответствовать этим целям. Тот, кто методически осознанно не ограничивает себя более или менее узкими рамками какой-то конкретной и специальной области научных исследований и, соответственно, не довольствуется вниманием небольшого круга коллег, специализирующихся в той же самой области, с их особым миром понятий, — тот живет в суеде притязаний и впечатлений, справиться с которыми в одиночку практически невозможно. И все же занятия какой-то одной специальной областью оказываются все более неудовлетворительными; тот, кто сегодня хочет быть, так сказать, провинциалом в науке и довольствуется знанием лишь периферийных разделов лингвистики, палеографии или историографии, — тот вряд ли окажется даже хорошим специалистом-провинциалом. С другой стороны, существуют специальные области исследования, которые к настоящему времени настолько дифференцировались, что изучение и освоение их становится делом всей жизни. Таково положение вещей, например, с Данте, изучение которого, правда, едва ли можно назвать отдельной специальностью, поскольку Данте излучает свет во все стороны; или, скажем, трудности с куртуазным романом, в исследовании которого отпочковались три группы проблем — придворная любовь, кельтский материал и Грааль: не сосчитать, сколько людей нужно для того, чтобы освоить во всей полноте материал одной только этой специальной области филологии, со всеми ее разветвлениями и исследовательскими направлениями. О каком же научно-филологическом синтезе мировой литературы можно помышлять в этих условиях?

Сегодня еще существуют отдельные лично значительные ученые, способные единым взглядом охватить всю полноту материала — по крайней мере в пределах Европы; однако, насколько я их знаю, все они принадлежат к поколению, которое сложилось перед мировыми войнами. Трудно будет найти им замену; ведь позднебуржуазная гуманистическая культура, школьной основой которой были латынь, греческий и знание Библии, почти повсеместно потерпела крах. И то же

самое — позволю себе сделать этот вывод на основании моего опыта жизни в Турции — происходит и в других древних культурах. Иначе говоря, все то, что раньше было основной предпосылкой высшего образования в университетах (или — в англосаксонских странах — в *graduate studies*), сегодня приходится осваивать впервые уже на студенческой скамье, и зачастую эти поздно приобретенные знания оказываются недостаточными. Кроме того, само обучение в университетах или *graduate schools* переместило свой центр тяжести: теперь гораздо больше преподаются современная литература и новейшая критика, а из прежних эпох предпочтение отдается таким, которые в последнее время были открыты заново (как барокко, например) и сами стали частью громко заявляющей о себе литературной современности.

Правда, если мы хотим, чтобы история открылась нам в своей подлинной значительности, мы должны охватить и осмыслить ее как целое, исходя из понятий и ситуации именно нашего времени; однако способный студент чувствует дух своего времени и без этого, и ему, как мне кажется, не нужен никакой академический наставник для того, чтобы освоить Рильке, Жида или Йейтса. Но такой наставник, и не один, нужен ему для того, чтобы понять формы языка и условия жизни античности, средневековья или Ренессанса, а также для того, чтобы познакомиться с методами и техническими средствами, разработанными для исследования этих исторических периодов. То, каким образом современная литературная критика ставит проблемы, и те упорядочивающие категории, с помощью которых она видит и проясняет явления литературы, — это всегда выражение велений времени, и оно, это выражение, зачастую несет в себе глубокий и освещающий смысл также и за пределами своего времени. Но лишь немногие из актуальных для данной эпохи проблем и подходов пригодны для непосредственного применения в историко-филологическом исследовании, так же как немногие из них способны заменить традиционные понятия. Категориальный аппарат и приемы, которыми в большинстве своем пользуется современная литературная критика, слишком абстрактны и многозначны, а использование их, наоборот, сплошь и рядом слишком приватно. Поэтому навыки критики еще усиливают искушение, к которому и без того имеют склонность многие начинающие и не только начинающие исследователи; искушение это состоит в том, чтобы путем гипостазирования абстрактно упорядочивающих понятий как бы сразу овладеть всею конкретною полнотою подлежащего материала, что приводит к стиранию предмета, к подмене его в дискуссиях по

поводу мнимых проблем и наконец к полному ничто (ins bare Nichts).

И все же не эти явления, какую бы помехой они иногда ни были, кажутся мне действительно опасными; во всяком случае, не в них заключается реальная угроза для тех, кто по-настоящему одарен и предан делу филологии. Подлинная опасность — в том, что становится все меньше и без того немногих, кто способен брать на себя реализацию принципиального и неотъемлемого условия возможности самой историко-филологической деятельности и кто перед лицом модных течений умеет найти должное равновесие между открытостью своей современности и независимостью от нее. Во многих отношениях у них, этих немногих, есть даже преимущество перед филологами предшествовавших десятилетий. События последних сорока лет расширили горизонт и выявили перспективы мировой истории, обновили и обогатили конкретное видение и понимание структуры междулических (zwischenmenschlichen) процессов. Практический семинар по мировой истории, в котором мы участвовали и всё еще участвуем, в гораздо большей степени, чем это было возможно прежде, развил в нас способность проникать в глубинный смысл исторических явлений и представлять их конкретный облик. Вот почему иные даже выдающиеся достижения исторической филологии позднебуржуазной эпохи выглядят несколько чуждыми действительности и узкими по своей проблематике. В этом смысле сегодня мы находимся в более выгодном положении.

Но как быть с проблемой синтеза? Жизнь одного человека, похоже, слишком коротка даже для того, чтобы создать хотя бы только предпосылки для решения этой проблемы. Организация труда на коллективной основе, в высшей степени полезная для других целей, в данном случае ничем не может помочь. Исторический синтез, который мы имеем в виду, хотя он и совершенно немыслим вне научных методов и приемов в работе с материалом, все-таки может быть создан лишь на основе личной интуиции, и следовательно, его нужно ожидать только от индивидуального автора (nur vom Einzelnen). Если бы такой синтез полностью удался, то это было бы одновременно и научным достижением, и произведением искусства.

Ведь уже для того, чтобы найти исходный основополагающий пункт для подхода к предмету исследования, — о чем речь пойдет ниже, — необходима интуиция; само же научное исследование практически должно быть завершенным в себе изображением (Gestaltung), целостным и суггестивным, если исследователь действительно стремится достигнуть того, чего

от него, по сути дела, ждут. Не подлежит никакому сомнению, что по-настоящему значительные достижения в той или иной области обязаны своим появлением на свет творческой интуиции; в отношении исторического синтеза это верно еще и потому, что самые значительные результаты такого синтеза, для того чтобы иметь подлинное влияние, должны предстать перед читателем в качестве своего рода произведений искусства (als Kunstwerke). Традиционное возражение, в соответствии с которым литературное искусство должно обладать свободой для того, чтобы овладеть соответствующими ему предметами, и потому ему не требуется научная добросовестность, — возражение это едва ли еще имеет силу; сами предметы исторического исследования предстают сегодня в таком виде, что они дают нашей способности воображения достаточно свободы в том, что касается проблематизации, выбора, расположения и оформления материала. Можно даже сказать, что научная добросовестность содержит в себе хорошее ограничение постольку, поскольку при таком сильном искушении уклониться от действительности — путем ли тривиального приглаживания или сглаживания, или путем явно фантастических построений, совершенно искажающих действительность, — научная добросовестность удерживает и хранит возможное в границах действительного; ибо действительное является мерой возможного. Кроме того, само наше требование синтетически-внутренней историографии как жанра литературного искусства принадлежит европейской традиции: античная историография была литературным жанром; и немецкая философско-историческая критика, уходящая корнями в немецкую классику и в романтизм, стремилась к выразительности подлинного искусства.

Мы, таким образом, возвратились к вопросу об индивидуе — как он может достигнуть синтеза? Во всяком случае, мне кажется, не путем энциклопедического накопления все новых и новых знаний. Предпосылкой синтеза, вне всякого сомнения, является широта горизонта, но этот горизонт приобретает еще в молодости как бы инстинктивно, путем развития личной заинтересованности в своей области исследования. Но, как показывает опыт последних десятилетий, в деле создания синтетически-целостной филологии затруднительно руководствоваться стремлением наиболее полно представить весь доступный в той или иной научной области материал, как он обычно рассматривается в толстых учебниках (при изложении, к примеру, национальной литературы, или какой-нибудь большой исторической эпохи, или какого-либо жанра литературы). Дело тут не только в полноте материала, кото-

рый, пожалуй, неподъемен для отдельного исследователя, так что в этом отношении целесообразна коллективная работа; трудность синтетической филологии заключается еще и в самой структуре материала. Традиционные хронологические, географические или морфологические членения целого, сколь бы ни были они необходимы для упорядочения материала, не согласуются, или не вполне согласуются, с энергетическим методом синтетической филологии; области, которые должны быть освоены и осмыслены с помощью таких членений, не сходятся с проблемными полями, охватываемыми этим синтезом. Я стал сомневаться даже в том, могут ли монографии об отдельных значительных индивидуальных авторах, — а мы располагаем множеством таких великолепных монографий, — служить исходным пунктом для синтеза, о котором мы здесь говорим. Правда, индивидуальный образ (*Gestalt*) в монографических исследованиях всегда представляет собой конкретное жизненное единство, и такая завершенная в своем образе индивидуальность, будучи предметным центром исследования, всегда лучше, чем всевозможные домыслы и умствования, вообще не адекватные предмету; но индивидуальность представляет жизненное единство одновременно и слишком непостижимым, и слишком перегруженным внеисторической неразрешимостью, к которой в итоге сводится индивидуальность.

Среди трудов последних лет, в которых литература рассматривается в историко-синтетической перспективе, несомненно, наиболее впечатляющей является книга Эрнста Роберта Курциуса «Европейская литература и латинское средневековье». Книга эта, как мне кажется, обязана своею удачей тому обстоятельству, что, несмотря на название, исходным пунктом здесь является не что-то всеобъемлющее и универсальное, а, наоборот, четко очерченный конкретный феномен, который может показаться едва ли не частным и ограниченным, а именно: риторическая школьная традиция в ее исторической преемственности. Поэтому труд Курциуса, поднимающий колоссальный материал, в своих наиболее сильных разделах является не нагромождением множества разнородных предметов, но излучением, исходящим от немногого. В самом общем виде предмет книги — живые традиции (*das Fortleben*) античности на протяжении всего латинского средневековья и воздействие этих традиций, в их средневековых формах, на новоевропейскую литературу. Замысел здесь настолько всеобъемлющий, что практически нет исходного пункта, с которого можно было бы приступить к делу; исследователь, намерение которого не идет дальше изложения такого

безграничного предмета, оказывается перед необозримым множеством самого разнородного материала, который почти невозможно упорядочить; если же пытаться охватить это множество в некоторой искусственно заданной перспективе (к примеру, с точки зрения судьбы наследия отдельного писателя или истории всего литературного процесса, прослеживаемой из века в век на протяжении средневековья), то — в силу одного только объема того, что нужно для этого собрать, — реализация такого замысла оказалась бы под угрозой. Только после нахождения в качестве исходного пункта такого ключевого феномена, который имеет четкие границы и вполне обозрим (а таков именно феномен риторической традиции, в особенности Торои — «общие места»), осуществление замысла стало возможным. Здесь не место обсуждать вопрос, является ли в данном случае выбранный исходный пункт совершенно удовлетворительным, то есть наилучшим из всех возможных с точки зрения данного замысла; как раз тот, кому этот исходный пункт кажется недостаточным по отношению к замыслу, тем более должен испытать восхищение от того, насколько выдающимся тем не менее оказался творческий результат.

Этим результатом мы обязаны методическому принципу, который гласит: для осуществления всякого большого синтетического замысла нужно прежде всего найти некоторый наводящий исходный пункт, заход или подступ (*ein Ansatz*) — как бы рукоять, которая позволяет ухватиться за предмет. Исходный пункт всего дела позволяет выделить четко очерченный, хорошо обозримый круг феноменов; а интерпретация этих феноменов должна высветить их с такою силою, чтобы вместе с ними раскрылись в своем смысле и внутренней взаимосвязи еще и многие другие феномены, выходящие далеко за пределы того, что было доступно в пределах исходного пункта исследования.

Этот метод давно известен; к примеру, исследователи стиля с давних пор прибегали к нему для того, чтобы описать то или иное стилистическое своеобразие по ряду определенных признаков. И все же мне кажется необходимым выделить и подчеркнуть значение данного метода как единственного, который к настоящему времени позволяет на более широком фоне дать внутренне убедительное синтетическое изображение значительных событий внутренней истории. Этим путем может двигаться также и молодой, даже начинающий исследователь; ведь если с помощью одной только интуиции суметь занять удачную исходную позицию, то это может оказаться достаточным даже в том случае, если культурный гори-

зонт такого исследователя относительно скромнен; советы старших коллег здесь как-то возмещают этот недостаток. При разработке темы кругозор ученого должен, понятно, достигать достаточной широты, поскольку выбор привлекаемого материала уже определен исходным пунктом или позицией; это расширение настолько конкретно, а то, что в него входит, настолько необходимым образом связано друг с другом, что уже приобретенный опыт нелегко вновь потерять; а то, что при этом удалось творчески произвести, по своей внутренней структуре обладает единством и универсальностью.

Разумеется, на практике дело не всегда обстоит так, что сначала имеется некоторый общий замысел или общая проблема, а уж затем подыскивается способ их конкретной разработки. Иногда случается, что обнаруживают отдельный исходный феномен, который впервые только и позволяет понять и сформулировать общую проблему, что, конечно, может иметь место только тогда, когда к постановке такой проблемы уже готовы. Очень важно понимать, что общий замысел синтетического характера или общая проблема — это еще далеко не всё. Главное — найти такой конкретный феномен, который имеет четкие границы и который можно описать специальными средствами филологии, — феномен, который делает понятным конкретное осуществление всего замысла. Иногда одного такого исходного феномена или явления бывает недостаточно, их тогда должно быть несколько, но, когда первые из них уже найдены, следующие отыскать легче; к тому же необходимо, чтобы они не механически притягивались друг к другу, а так, чтобы сближение между ними относилось к замыслу. Тем самым речь идет об отборе, но об отборе, который соответствует не общему упорядочиванию материала, а такому, который всякий раз будет так или иначе соответствовать предмету, а потому всякий раз будет обретаться заново.

Подступы (*Ansätze*) могут быть очень разными, — немислимо перечислить здесь все такие возможности. Отличительная особенность хорошего исходного пункта или подступа состоит, с одной стороны, в его конкретности и точности, а с другой стороны — в заключенной в нем освещающей силе. Такая методическая позиция может, например, опираться на значение какого-то слова, или на риторическую форму, или на синтаксический оборот, или на интерпретацию какого-то высказывания или ряда где-то и когда-то сделанных высказываний; но в любом случае исходный пункт должен осветить другие явления так, чтобы, исходя из него, могла заговорить мировая история.

Допустим, предметом исследования является место писа-

теля в литературе XIX столетия — в такой-то стране или в Европе в целом; исследователь, пытаясь собрать об этом самый полный материал, мог бы создать ценный справочник, за который его можно было бы только поблагодарить, поскольку справочники практически нужная вещь. Но для того, чтобы достичь синтеза, о котором мы размышляем, скорее стоило бы исходить из небольшого числа высказываний о публике совершенно определенных писателей. Точно так же дело обстоит и с такими предметами, как судьбы наследия (*la fortuna*) поэтов. Фундаментальные труды о судьбах или традициях наследия Данте в разных странах, которыми мы располагаем, конечно, необходимы; но, возможно, получилось бы что-то более интересное, если бы удалось (этой мыслью я обязан Эрвину Панофскому) проследить, каким образом интерпретировались те или иные места «Комедии», скажем, начиная от первых комментаторов вплоть до читателей, живших в XVII веке, — и далее, с эпохи романтизма. Такое исследование было бы в точном смысле слова духовной историей (*Geistesgeschichte*).

Хороший исходный пункт (*Ansatz*) должен быть точным и предметным, а для этого не годятся ни категории, относящиеся к целому, ни понятия, относящиеся к частным признакам — такие же абстрактные; здесь не подходят, например, такие слишком общие или обобщенные термины, как «барокко» или «романтизм», ни более специальные, как, скажем, «драма», или «идея судьбы», или «интенсивность», или «миф»; и столь же опасны для дела «понятие времени» или «перспективизм». Слова эти вполне применимы при таком способе изложения, когда из взаимосвязи целого становится понятно, о чем, собственно, говорится в тексте; но в качестве исходного пункта такие общие слова слишком многозначны для того, чтобы передать вполне конкретные и очень определенные вещи. Исходный пункт исследования ни в коем случае не должен быть какой-то всеобщностью — тем, что извне навязывается предмету; исходный пункт должен вырастать из самого предмета, в качестве составной его части. Сами вещи должны заговорить; но этого никогда не достичь, если исходный пункт исследования не имеет четких и конкретных границ. Вообще требуется много искусства для того, чтобы, имея даже наилучший исходный пункт, всегда оставаться лицом к лицу с самим предметом. Интерпретатора на каждом шагу подстерегают сложившиеся, готовые, но редко единственно адекватные понятия; иногда такие понятия бывают соблазнительны в силу того, что они на слуху и считаются модными: они всегда готовы оказать свое вредоносное воздействие, стоит только

интерпретатору начать терять живое ощущение предмета. Соблазн, которому иногда подвержен даже пишущий и уж тем более подвержены многие читатели, состоит в том, что вместо сути дела подставляют какое-нибудь общепонятное клише; ведь слишком много читателей вообще склонны к таким подменам, и необходимо сделать все для того, чтобы лишить их всякой возможности подменить или упустить из виду существо того, о чем на самом деле идет речь. Феномены, которыми занимается филолог, стремящийся к синтезу, имеют свою предметность в себе же самих; и настоящая трудность заключается в том, чтобы попытка синтеза не привела к потере этой самой предметности. Правда, целью синтетической филологии является не что-то отдельное, какую бы радость ни приносило оно исследователю само по себе; нет, подлинная цель здесь — воспринять и передать как раз движение целого; но увидеть это движение как таковое можно лишь постольку, поскольку поняты составные части его.

В пределах западноевропейской культуры, насколько мне известно, мы не найдем попыток синтетической филологии мировой литературы, а найдем лишь отдельные подступы (*Ansätze*) к ней. Но по мере того, как Земля становится единым для всех пространством, все большее распространение должна будет получить деятельность, ориентированная на синтез и перспективизм. Великая задача — способствовать тому, чтобы люди в своей собственной истории осознали самих себя; можно усомниться и отказаться от выполнения этой задачи, если вспомнить, что ведь мы пребываем не только на Земле, но еще и в мире, в универсуме. Но то, на что могли претендовать прежние эпохи, а именно: определять место человека во вселенной, — для нас теперь едва ли доступно.

Как бы там ни было, наша филологическая родина — это Земля; ею больше не может быть нация. Конечно, в высшей степени ценным и необходимым достоянием филолога еще являются язык и культура его народа; однако они становятся действенными только тогда, когда удастся изъять их из обособленности и преодолеть их самодовление. Мы должны, в силу изменившихся обстоятельств, вновь обратиться к тому, чем уже обладала до-национальная средневековая культура, — к осознанию того, что дух не имеет национальности. *Paupertas* и *terra aliena*³ — так примерно читаем об этом у Бернарда Шартрского, Иоанна Солсберийского, Жана де Мена и многих других. *Magnum virtutis principium est*, — пишет Гуго Сен-Виктор (*Didascalicon* III, 20), — *ut discat paulatim exercitatus*

³ Бедность и чужая земля (*лат.*).

*animus visibilia haec et transitoria prium commutare, ut postmodum possit etiam derelinquere. Delicatus ille est adhuc cui patria dulcis est, fortis autem cui omne solum patria est, perfectus vero cui mundus totus exilium est...*⁴ Гуго, говоря это, имел в виду такого человека, цель которого — освободиться от любви к миру. Но и для того, кто желает обрести правую любовь к миру, в словах этих предначертан достойный путь.

*Перевод с немецкого Ю. ИВАНОВОЙ,
П. ЛЕЩЕНКО и А. ЛЫЗЛОВА.*

⁴ «Великое начало добродетели — когда мало-помалу упражняемый дух постигнет сначала переменчивости видимых и преходящих вещей, чтобы потом решиться отринуть их вовсе. Изнежен тот, кому мила его родина, мужествен тот, кому всё — родина, совершенен же тот, кому весь мир — чужбина» (лат.).